

**А**

ндрей Петрович Кукольников в ожидании врача стоял у окна в просторной тихой кухне и смотрел, как первый ноябрьский снег падает на землю. Грязно-коричневый прямоугольник двора был похож на кусок подсохшего бородинского хлеба, который кто-то большой, решивший вдруг опроститься, посыпал крупной солью, готовя закуску под огромный граненый стакан, до краев налитый водкой. Несмотря на насморк и высокую температуру, Андрей Петрович открыл окно и вдохнул холодный воздух. Слабый тревожный запах проник сквозь заложенный нос куда-то в отдаленные уголки мозга и разбудил неясные черно-белые воспоминания о той давней поре, когда первый снег шел не только за окном, но, казалось, внутри самого Андрея.

Приступ кашля согнул Андрея Петровича пополам и заставил закрыть окно. Запах исчез. Запищал сигнал домофона.

— Это доктор, и сейчас он сообщит, жив больной или мертв, — сказал Андрей Петрович сам себе и пошел открывать дверь, шаркая тапками и кутаясь в махровый халат.

Он нажал кнопку домофона, приоткрыл дверь и прислушался. Внизу хлопнуло, и через некоторое время слышались шаги поднимающегося по лестнице человека. Наконец, участковый врач — моло-

дая женщина — оказалась на гулкой лестничной площадке, скупо освещенной серым ноябрьским светом.

— Здравствуйте! — ответила она на приветствие Андрея Петровича. — Кто больной?

— Я больной, — ответил Андрей Петрович, помогая врачу снять куртку с капюшоном и стряхивая с нее снег.

От врача пахло морозным воздухом, свежестью ветра, и было похоже, что женщина преодолела долгий трудный путь, чтобы прийти к Андрею Петровичу и спросить его о самом главном.

— Домофоны, коды, консьержки! Рва и подъемного моста только не хватает. Легче в средневековый замок попасть, чем к вам, — сказала врач.

— А вас в средневековый замок вызывали, что ли? — спросил Андрей Петрович.

— Всякое бывало... Ну, рассказывайте, что с вами случилось, — начала врач разговор. — С чего все началось?

— С чего началось? — переспросил Андрей Петрович. — Началось с того, что в детстве я любил болеть. Считал это естественным состоянием человека...

Маленькому Андрею, действительно, нравилось болеть. Во-первых, не надо было ходить в школу, коридоры, классы, уроки и учителя которой, как казалось Андрею, ему снятся. Во-вторых, мама всегда готовила что-то легкое и до такой степени приятное, что это тоже напоминало сон. А отец переживал, то и дело щупал ладонью лоб Андрея и говорил: «Холодный». Или: «Горячий». И обязательно выполнял все желания Андрея, например, искал и покупал интересные книжки про Карлсона или мальчика Тима, продавшего черту свой смех. В-третьих, высокая температура таила в себе, кроме озноба, некие преимущества: снились удивительные сны или мерещились удивительные истории, а иногда загадки, которые он пытался разгадать, но никогда не мог этого сделать. Потому что температура рано или поздно спадала.

Андрей болел не чаще, чем его сверстники, попыток заболеть специально, как некоторые, не предпринимал, относился к вероятности простудных заболеваний философски и стремился извлечь из болезни максимальную пользу.

Обязательно вызывали участкового врача. Приходила усталая доброжелательная женщина, мыла руки (в те времена врачи, coming по вызову, еще имели обыкновение мыть руки), вытирала их чистым, специально приготовленным мамой полотенцем. Потом о чем-то спрашивала, слушала Андрея, говорила: дыши, не дыши, дыши глубже. Просила принести ложечку и с ее помощью, надавливая на язык, заглядывала Андрею в горло. Он очень не любил, когда ему в рот суют посторонние предметы, и старался обходиться без серебряной ложечки с красивой витой ручкой, широко открывая рот и пытаясь представить себе, что видит там доктор.

«Легкие чистые, горло красное», — говорила врач и начинала выписывать рецепт, называя лекарства, которые необходимо было купить. «Постельный режим, полоскания и, конечно, обильное питье».

Папа шел в аптеку, врач прощалась и уходила на другие вызовы, но Андрей об этом не знал и думал, что доктор навещала только его одного и сейчас направится домой. А потом, когда время было разделено на «до» прихода врача и «после», укрывался одеялом и, чувствуя подступающий приятный озноб, начинал размышлять о том, что подразумевалось под словами «обильное питье».

Несомненно, это был шифр или пароль, требующий разгадки или отзыва. Прошло много лет, появились новые лекарства, болезни и доктора, люди стали принимать антибиотики и лечиться странными народными средствами. Заболел и умер, не дождавшись реаниматоров, Советский Союз. Доктора, изредка приходившие к Андрею, уже не желавшему переносить болезнь на ногах, выписывая дорогостоящие рецепты, все так же добавляли к дежурным фразам: «и, конечно, обильное питье». Они были похожи на агентов глубокого внедрения, привычно повторяющих пароль и ждущих отзыва...

— Что же естественного в болезни? — спросила женщина-врач и бросила на Андрея Петровича быстрый внимательный взгляд. — Вы, Кукольников, за последние пять лет уже семь раз вызывали участкового в связи с инфекционными заболеваниями. И на ногах, наверное, столько же перенесли. Не задумывались, в чем тут дело? Иммуитет ослаб. Спортом не занимаетесь, воздухом свежим не дышите, витамины не принимаете. Так?

Андрей Петрович неопределенно пожал плечами.

— Конечно, так, — сказал он. — Только так, и никак иначе. Спортом не занимаюсь, свежим воздухом не дышу, витамины не принимаю. Хотя, нет. Свежим воздухом в прошлом году дышал: на работе корпоратив устроили, в лес ездили. А витаминами меня в апреле, кажется, Владимир Александрович угощал. Аскорбиновая кислота, по-моему, кислая такая. Я штук пять сразу съел. Только все это не помогает. Я, знаете ли, болеть часто начал, как только пить бросил. Лет пять или шесть назад ситуация меня вынудила. Вот с тех пор и болею два раза в год. Кстати, тяжело стал переносить заболевания, не то что в молодости.

— Что, вы пить бросили? — спросила врач, доставая стетоскоп. — Встаньте, поднимите футболку...

— Питье. Обильное... Спиртное, — ответил Андрей Петрович, поднимая футболку и ощущая холодное прикосновение металлической чашечки стетоскопа. Он вдруг вспомнил, как в юности, в таком же снежном ноябре, в безлюдном парке, после бутылки сухого вина, девушка по имени Таня, расстегнула ему куртку и забралась рукой под свитер. Прикосновения были такими же холодными, но постепенно ее пальцы нагревались. Постепенно нагревался и стетоскоп.

— Не дышите, — приказала врач.

«Я и так не дышу», — подумал Андрей Петрович.

— Глубоко дышите, — слышался откуда-то издали голос врача. — Задержите дыхание...

Слово «обильное», входившее в словосочетание «обильное питье», вызывало ассоциации с чем-то огромным, щедрым, благодатно орошающим землю. В лексиконе советских дикторов обильными могли быть осадки, урожай, закрома родины. У поэта Некрасова обильной и бессильной была матушка-Русь. Слово болталось где-то между полуофициальной и псевдонародной лексикой, хотя представители народа его никогда не употребляли, разве что в книгах о жизни советской деревни.

Слово же «питье» тоже достаточно сложно было куда-то приспособить и назвать им что-то конкретное. Чай и компот считались напитками, молоко — «пищей, приготовленной самой природой». «Алкоголь», «спиртное» или, тем более, «спиртосодержащие жидкости» жили своей особенной жизнью. Хорошее вино и коньяк никак не могли быть «обильными», настойка боярышника просто не успевала вызвать у человека ее употребляющего какие-то аллюзии, и Андрей вдруг понял, что «питье»

и как раз «обильное» — это то самое дешевое вино, которое он употреблял в позднесоветский период жизни полными стаканами. Оно составляло во рту труднопонятный привкус, то ли плодово-ягодный, то ли лекарственный, по внутренней стороне осушенного стакана скатывались коричневатые, микстурного цвета капли. Водку в юности Андрей с друзьями тоже пили обильными дозами — по половине стакана и запивали водой, словно таблетки или порошки. Иногда обильное питье вызывало тошноту и рвоту, а также другие побочные нежелательные эффекты, о которых честно предупреждали показания к применению. Это было неприятно, но спустя какое-то время побочные эффекты прошли и больше не появлялись. В какой-то книжке Андрей встретил словосочетание «обильные возлияния». Там описывался пир в древней Каппадокии, во времена правления Митридата Ктиста. Приняв обильное питье и неумеренное количество закуски, пирующие, испытав первый пароксизм удовольствия, совали себе в горло павлинье перо, вызывая рвоту, а затем начинали все сначала.

Единственным непонятным моментом было то, что питье утоляло жажду, а вино и водка этого не делали, хотя в некоторых романах герои часто говорили: «я умираю от жажды, дайте рому» или «у меня в глотке пересохло, налейте мне виски». Правда, это были не советские и не русские герои, а какие-нибудь американцы или европейцы, пираты, преступники, частные детективы, а иногда и довольно уважаемые люди: банкиры, журналисты или даже члены парламента.

Андрей со временем понял, что в этих случаях имеет место метафора, но иногда по утрам, ощущая совсем не метафорическую жажду, принимал обильное питье в дозах, необходимых для ее утоления, начиная понимать, что слово «жажда» имеет много различных значений и смысловых оттенков...

Андрей Петрович внезапно осознал, что не дышит уже секунд сорок. Врач не отдала приказа возобновить дыхание и строчила что-то на бланке, по всей видимости, выписывая рецепт. Андрей Петрович подумал и решил не дышать и дальше. Он продолжал вспоминать и размышлять, чувствуя, что эти размышления заменяют ему воздух...

Обильное питье поначалу было, конечно, профилактическим средством, которое помогало избежать тяжелой формы социально-психологической болезни и адаптироваться к окружающей среде. Болезнь была достаточно распространенной, но лекарство всегда находилось рядом, в шаговой доступности: любой гастроном предоставлял его в неограниченном количестве. Рецепт был выписан давно, не требовал обновления и действовал вечно. Случались, конечно, перебои. Продажу лекарства ограничивали во времени, и приходилось ждать до одиннадцати утра или спешить до девятнадцати вечера. Иногда на лекарства выдавали талоны, пытаясь уменьшить лекарственную зависимость. Однако люди в таких случаях запасались впрок или переходили на народные средства.

Жажда имела постоянный специфический характер, вполне объяснимый, однако прошло немало времени, прежде чем Андрей понял, что утоляют они жажду свободы. Действительно, принимая обильное питье как лекарство, человек на время становился свободным, в меру своего разума, образования и образа жизни. Кто-то сидел на кухне и высказывал невозможные в трезвом виде мысли по поводу государственного устройства и конкретных строителей, кто-то бил кому-то морду, кто-то прыгал с девятого этажа или резал себе вены тем, что попадалось

под руку. Это было правдой, высказанной пьяным и здоровым человеком, философскими воззрениями, принявшими практическую форму. Хмель проходил и человек заболел трезвостью, терял естество, забывая о свободе. Кое-кто болел долго, иногда всю жизнь, превращаясь в неизлечимого трезвого хроника и умирая в окружении плачущих родственников. Некоторые принимали обильное питье неаккуратно и несвоевременно, проводя жизнь в мутном полуболезненном состоянии. Кто-то лечился постоянно, четко следуя предписаниям неизвестного врача, закаляя организм и приобретая иммунитет к тяжелой жизни и превратностям судьбы.

Обильное питье обостряло восприятие грозы, первого снега, летней ночи, возводило в квадрат или даже в куб восторг, удивление, печаль. Оно открывало потаенные двери и впускало в странный мир, в котором царствовал выбор. Там в очереди к Андрею теснились возможности. Они толкались, выясняя, кто за кем стоит, ругались, доказывали что-то друг другу, объясняли, что занимали очередь с утра... Но уже лет пять ничего подобного не происходило, поскольку он исключил обильное питье из своей жизни, ошибочно подумав, что осушил свою чашу до дна.

— ...будете принимать три раза в день, — услышал Андрей Петрович голос врача и глубоко вдохнул.

— Купите вот этот антибиотик, — продолжала врач.

— У меня есть, с прошлого раза остался.

— Хорошо. Один раз в день. Капли в нос, спрей — в горло. Понятно?

— Понятно. Альтернативы нет?

— Почему нет. Есть. Свежий воздух, спокойствие и положительные эмоции.

— Где же их взять-то?

Врач неопределенно пожала плечами. Было похоже, что ей уже надоело говорить о спорте, режиме, умеренном питании и сне при открытой форточке.

— Обильное питье? — произнес пароль Андрей Петрович.

— Непременно, — отозвалась врач и пристально посмотрела на Андрея Петровича.

Он помог ей одеться, попрощался и подошел к окну. Женщина пересекала двор, оставляя на свежеснеженном снегу маленькие изящные следы. Острроверхий капюшон делал ее похожей на монаха-францисканца. Ей предстояло долгое непростое путешествие.

Андрей Петрович надорвал упаковку с антибиотиком. На ладонь ему выкатилась продолговатая, похожая на маленькую баллистическую ракету красно-белая таблетка. Он бросил ее в рот, достал из холодильника бутылку водки, налил полный стакан и запил уже начинающую горчить таблетку таким же горьким питьем. Потом, преодолевая слабость, оделся и вышел на улицу, под сухой снег, который падал на его горячую кожу и мгновенно испарялся, как дождь в пустыне, не оставляя следа. Свежий воздух с привкусом тревоги, внутреннее спокойствие и непредсказуемые положительные эмоции ждали его за открывающимися с разных сторон таинственными дверями. Где-то вдалеке, в разрывах низких темно-серых ноябрьских туч, уже вырисовывались контуры средневекового замка, с ровом и подъемным мостом. Андрей Петрович пошел по следам врача, глубоко вдыхая воздух, который обрел непередаваемый терпкий привкус. Лекарство начинало действовать.

В детстве я, как и многие мои соотечественники, был уверен, что крыжовник растет только в СССР. Густые колючие кусты с ягодами, играющими с людьми в прятки, выбирали себе места для жизни в углах садов или рядом с дачными дорожками, цепляли за ноги и оставляли на детской загорелой коже длинные пунктирные царапины. Таким пунктиром на уроках геометрии обозначались невидимые грани параллелепипеда. Я никогда не видел, чтобы взрослые ели крыжовник серьезно и вдумчиво. Они бросали одну-две ягоды в рот и говорили: зеленый. Или: мягкий. Поймать момент, когда крыжовник созрел, было сложно, да никто этого сделать и не старался. Правда, из него варили варенье, которое почему-то называлось царским. Я верил и тому, что такое варенье ели цари. Чаще других я представлял себе Ивана Грозного: он в шапке, как на известной картине, держал в левой руке скипетр, а в правой — маленькую золотую ложечку, и время от времени брал ею из розетки ягоду крыжовника с кусочком грецкого ореха внутри. При этом с его лица не сходило мрачное задумчивое выражение.

Для мальчишек крыжовник был приметой времени, начала лета. Мы ели его недозревшим, как, допустим, и яблоки, морщась от пронзительной кислоты, проникающей, казалось, в мозги, в глаза, в уши: цвета, звуки и мысли становились на мгновение остро-кислыми. Наверное, это ощущение заставляло нас жевать зеленые ягоды. А, может быть, детским организмам просто не хватало витаминов.

Если бы мне сказали, что крыжовник растет в других странах и известен людям тысячи лет, я бы не поверил. Но никто мне об этом не говорил. И я не знал, что эти кусты росли в Древнем Риме, не представлял, что какой-нибудь древнеримский мальчик по имени Август, в потрепанной, выцветшей тоге и сандалиях на босу ногу, или что там носили мальчишки в те времена, скрашивает свое скучное древнеримское детство кислыми недозревшими ягодами, жмурится, морщится, испытывая острое быстрое наслаждение, и июньское солнце Древнего Рима вдруг на секунду становится для него зеленым, полупрозрачным и холодным.

Несмотря на сиротский и заброшенный вид кустов, ягоды были красивыми. Я любил рассматривать их матовую зелень, узор белых прожилков, темные туманности внутри, которые оказывались семечками. Ягоды, конечно, были живыми, но напоминали мне камешки, принявшие округлую форму под воздействием морских волн или ювелирных инструментов.

Я не знал тогда, что один из редких камней, зеленый гранат, называется гроссуляром, от латинского слова «гроссула» — крыжовник. Я не знал и того, что Древний Рим, как и СССР, был великой империей и что он исчез, распался, прекратил свое существование. Спустя несколько десятков лет распадется и исчезнет советская империя. Распадется с негромким звуком отделяемых друг от друга республик, напоминающим треск разрываемой по перфорации бумаги или хруст ягоды крыжовника на зубах. Я вообще очень мало знал в шесть лет, не больше, чем мальчик моего возраста в Древнем Риме. Нам был неизвестен вкус многих вещей, запахи, ощущение поверхностей под пальцами. Мир казался нам замкнутым и только-только начинал раскрываться перед нами, чтобы достигнуть границ Древнего Рима и Советского Союза и остановиться, не в силах преодолеть огромных расстояний и прочной, как стены Колизея или московского Кремля, идеологии. Нас еще не посещали мысли о смерти.

Впрочем, это блаженное неведение, начинающее постепенно и есте-

ственно исчезать, превращаясь в инстинктивное знание, бесполезное и обременительное, позволяло еще какое-то время жить в своем мире. Мир этот был радостным и солнечным, независимо от погоды и времени года. Так случилось и в то утро, когда я, проснувшись, вышел из темного дачного домика в пасмурное летнее утро, под теплый редкий дождь. «Дождь идет везде, на всей земле, в прошлом и в будущем». Так подумал я и подошел к кусту крыжовника, росшего возле большого цилиндрического бака для воды. Тут всегда было сумрачно и влажно, потому что сверху раскинула ветви старая яблоня. Но изредка, когда сквозь листву светило солнце и дул ветер, на землю и на кирпичную дорожку ложился меняющийся цвет узор. Он двигался, словно живой, и я следил за этими движениями, пытаюсь что-то понять. Никакой закономерности в движении солнечных пятен не было, и я забывал об этом узоре, возвращаясь к другим детским делам.

В тот раз солнце пряталось за тучами, пятна света на дорожке отсутствовали, но зато я увидел крупные продолговатые ягоды, матовые, тяжелые, прячущиеся под кружевными листьями, кое-где по краям обжеденными тлей. Я сорвал одну ягоду, сунул ее в рот и разгрыз, наслаждаясь хрустом и замерев в ожидании кислоты, которая тоже была везде, во всем мире, в прошлом, настоящем и будущем. За первой ягодой последовала вторая, потом третья, четвертая. Кислота появлялась и откатывала, как морские волны (к тому времени я уже видел море и единственное, что запомнилось мне, — это волны, поразившие меня своей предсказуемостью). Я съел примерно двадцать ягод, пока не пресытился. Мне свело скулы, что было признаком начинающейся оскомины. Мимо меня прошел дед и, потрепав меня по голове, сказал:

— Смотри, не трогай крыжовник, я обработал его ядом.

И пошел дальше, открывая на ходу старый садовый нож, лезвие которого очень интересовало меня, поскольку было не прямым, как у обычных перочинных ножей, а вогнутым внутрь, что было непонятно и необъяснимо.

Дед пошел дальше, не подозревая о том, что я разучился дышать. Я стоял с опущенными руками, впитывая воздух порами тела, и чувствовал, как растворяюсь в дожде, свежей листве, влажной земле. Я не сказал никому ни слова и медленно, не чувствуя ног, ушел в дом, скрылся в сумраке комнатки с закрытыми ставнями. Тихо лег на кровать, отвернулся к стене, подтянул ноги к животу. Мне никогда еще не было так жалко себя. Мельком я подумал о боли, которую вот-вот должен был принести попавший в организм яд. Но тут же пришла спасительная мысль: я умру раньше, чем придет боль. Мелькнула еще одна мысль: правильно ли я сделал, ничего никому не сказав. Вряд ли я боялся: мне было еще неведомо чувство страха, я просто не успел сделать в этом мире ничего плохого, да и мир пока не замечал меня. Я приготовился умирать, но при этом ощущал странную легкость, словно потерял вес. Я мог шевелить пальцами, дышал, ощущал кожей щеки легкий сквозняк и ждал, когда все это исчезнет.

Я до сих пор не знаю, заснул я тогда или умер. Этот вопрос мучает меня до сих пор.

Когда я проснулся или воскрес и открыл глаза, то сначала обрел зрение, потом почувствовал незнакомые запахи, затем до моего слуха донеслись звуки, и я понял, что они означают. Ставни были открыты, солнце освещало противоположную стену: маленькие розочки и коричневые круглые пятнышки от проржавевших шляпок гвоздей на обоях, овальную картину, на которой прямо по дереву была нарисована масляными крас-

ками сосна, желтая песчаная дорога, извилистая словно змея, полоска темно-зеленого леса вдали.

Воздух имел вкус, как газированная вода с сиропом. Я ощутил запах подушки, отсыревших журналов, лекарств, которые хранились в полуоткрытом ящике комода.

За окном на узкой улице прошуршали велосипедные колеса, сосед по фамилии Майоров окликнул деда по имени, и дед, нехотя рассмеявшись, что-то ответил ему. Зазвенели ведра у сарая, в летней кухне зашипел припуск.

Я полежал еще немного, привыкая к новым ощущениям, потом поднялся и медленно вышел в сад, почувствовав босыми ногами тепло кирпичной дорожки и щурясь на ярком солнце. Первое, на что я обратил внимание, был забор, которого я раньше не замечал: мир приобрел границы, а я лишился своих границ.

— Проснулся? — спросил дед.

Я кивнул и внезапно понял, почему у садового ножа лезвие не заострено сверху и загнуто внутрь.

Я ничего никому так и не сказал и вообще не помню, когда заговорил, может быть, только сейчас. А, может быть, я до сих пор молчу. Но именно тогда, когда я проснулся, советская империя начала засыпать.

Мальчик по имени Август заснул или умер по-другому: в Древнем Риме не производили химических ядов для обработки кустов и деревьев. Он решил попробовать ягоды в чужом саду, чтобы сравнить их вкус с теми, что росли на его маленьком огороде, и охранник, стоящий на посту в саду, окружающем виллу какого-то патриция, ударил его тупым концом копья. Когда Август проснулся, мир для него обрел границы, но Римская империя стала постепенно погружаться в сон. Она засыпала дольше, чем Советский Союз. Ворочалась с боку на бок, вставала и выходила на террасу, смотрела на звезды, пила вино, гнала из головы неприятные мысли: ее нервная система была расшатана, а тело, источенное болезнями и расстроенное постоянными излишествами, окончательно вышло из повиновения. СССР же смертельно устал и поэтому заснул сразу, рухнув навзничь, даже не постелив простыню на продавленный полуторный диван «Ладога».

Как жил потом древнеримский мальчик Август, известно. Как и я: отголосками, эхом, фантомными болями, воспоминаниями. Впрочем, это не важно. Он уже давно солидный и уважаемый римский гражданин, крайне редко вспоминаящий о своем прошлом. Он не видит кустов крыжовника и не помнит, как выглядят его ягоды. Я, в отличие от него, обременен странными традициями и чаще думаю о прошлом, остерегаясь заглядывать в будущее. Почему-то я помню эту латынь: *grossularia*, кажется так... На своей даче я поливаю из старого, тяжелого, покрытого поперечными трещинами, как кожа варана, советского шланга цветы, деревья, газон, прошитый строчками повители, куст крыжовника, выросший без спроса. Я срываю ягоду, кладу ее в рот и раскусываю, пытаюсь что-то вспомнить или понять. Я жду, когда пронзительная кислота обожжет мне небо. А, может быть, надеюсь, что яд, которым мой дед обработал когда-то куст, сохранил свои волшебные свойства, что он не смыт дождями и не высушен солнцем. Но, нет... Во рту вязкая мягкая сладость: я опять опоздал и упустил момент истины.

— Переспел, — говорю я сам себе и зачем-то глотаю то, что у меня во рту, не ощущая ни вкуса, ни сожаления.